

Пришла пора подводить итоги и каяться.

Нет, наверное, грехов, в которых я не был бы грешен. Но перед глазами, чем дальше во времени, тем чаще, встает один, не прощаемый, по крайней мере, самим собой, грех.

Я после сдачи вступительных экзаменов и только что зачисленный на первый курс университета еду к родителям, чтобы сообщить им об этом и собрать немудреный скарб в новую жизнь.

Вот и бывшая до недавнего времени родной узловая станция Кропачево, в двадцати пяти километрах от которой моя родина - деревня Михайловка. Но родители после очередной хрущевской реформы сельского хозяйства, на сей раз укрупнения районов, в результате чего отец оказался без работы, переехали на жительство в горнозаводской городок Юрюзань, и теперь их с большим миром связывала небольшая уральская станция Вязовая.

Любой поезд в Кропачево останавливается не менее чем на полчаса, и я первым выскакиваю на перрон: вдруг встречу кого из знакомых. Я скрываю это от себя, но меня так и распирает рассказать кому-нибудь, что я студент и не просто студент, а студент университета. Но, как назло, никого из земляков не встретил. Ни на перроне, ни на площади за вокзалом,

на остановке автобусов, ни в самом вокзале, в зале ожидания, где в свое время пришлось натерпеться столько унижения от красномордого старшины Шабрина, царствие ему небесное, может, встретимся с ним скоро, сколько бессловесного деревенского люду, порой сутками ожидающего оказии до своих деревень, выгнал он на мороз, в буран, в дождь, даже когда зал ожиданий пустовал, потому как якобы по инструкции полагалось, что в зале ожиданий можно было ожидать только поезда.

До отправления поезда оставалось не более десяти минут, и я вернулся на перрон. И неожиданно с подошедшей электрички встречаю своего двоюродного брата Ваню, который был на два года старше меня. Ваня от рождения был косоплеч и косоглаз до того, что оба зрачка порой закатывались вверх к переносице навстречу друг другу и, казалось, встречались там за ней, потому никто его между собой, кроме как Ваня-Косой, не называл, и когда в классе учительница вызывала его к доске, называла Ваня Чванов, он не сразу соображал, что это относится к нему. По прежней детской жизни мы не были близки, теперь мне стыдно, что я даже сторонился его, потому что тоже был косой, правда, не в той степени, и если бы не Ваня, носить бы мне по

жизни это прозвище, а тут я обрадовался ему и видел, что он обрадовался мне еще больше меня.

— Ты с электрички, от родителей? — крепко взял он мою руку и не отпускал. Проведать Михайловку? Вот хорошо, вместе поедем!

— Нет, еду до Вязовой, к родителям. Вон мой поезд стоит.

Я видел по его глазам, что с ним что-то случилось, что ему нехорошо, хотя хорошо у него в жизни никогда не бывало, теперь я знаю, он нес по жизни чей-то, кроме своего, тяжелый крест, и он ему, больному, одинокому среди людей, отверженному сверстниками, доброму среди нас жестоких, оказался не под силу.

Но вместо того чтобы спросить, что случилось, я понес околесицу про свои успехи, про университет, про свою будущую прекрасную студенческую жизнь, а за ней открывались еще более радужные перспективы, а до отправления моего поезда оставалось всего несколько минут. Не замечая слезы, стоявшие в его глазах, которые у него всегда были, словно раны, я продолжал нести свою околесицу, а он, стараясь меня не перебивать, вставлял в паузах:

— Хорошо, что я тебя встретил... мне нужно с тобой поговорить... посоветоваться... Может, останешься?.. Может, поедешь другим поездом?..

Но я по-прежнему нес свою околесицу про свою будущую прекрасную жизнь.

Уже объявили отправление моего поезда. Ваня по-прежнему не отпускал мою руку и все пытался поймать мой взгляд:

— Уедешь следующим, они идут каждый час? Мне надо посоветоваться с тобой, может... .

Скрипнули тормоза. Поезд начинал трогаться. Я освободился от его руки:

— Летом на каникулы приеду, если не отправят куда-нибудь на практику. У нас практика может быть где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке...

Он как-то безнадежно махнул рукой, скрывая вдруг брызнувшие из глаз слезы, и вдруг заплакал навзрыд, чего не было принято в нашей суровой послевоенной деревне.

Я было уже готов был спрыгнуть с подножки, но проводница, ругаясь, оттеснила меня в глубь тамбура, захлопнула дверь...

Муторно было на душе, на другой день я ехал обратно, но на станции Кропачево уже не искал знакомых, даже не стал выходить из вагона, перед глазами стоял мой брат Ваня... Но через день-два все забылось, студенческая жизнь захватила меня. А через неделю я из письма матери узнал, что в тот день, вернувшись в деревню, он повесился...

Потом говорили, от безответной любви.

И вот этот грех не дает мне покоя. Кажется, со временем боль должна была поутихнуть, а она с каждым годом все сильнее и сильнее, хотя с того времени столько воды утекло и кого только я за эти годы не терял. Мне кажется, останься я тогда на перроне, хотя бы до следующего поезда, может, это стало бы для него спасением. Может, хватило бы несколько теплых слов, которых он так мало слышал в своей жизни.

Ваня был сыном тети Анны, старшей сестры моего отца. Вдова, колхозница тянула шестерых детей. Они жили наискосок от нас, напротив. Тетя Анна на нашей улице была, кажется, единственной не фронтовой вдовой. Мужа, сына нашего соседа слева, деда Лекан-

дры, я не помню, он умер рано, перед этим несколько лет не поднимался с постели, но, тем не менее, дети рождались один за другим. Самое печальное, что рождались они тоже больными, кроме самых старших, которые было зачаты, видимо, когда его еще не свалила тяжелая болезнь. Уже прикованный к постели, он поднимал на тетю Анну руку, и потому трудно сказать, горем или радостью была для нее его смерть, к тому же одним ртом меньше. Спасал большой в тридцать соток огород. Из-за недогляду, весь день на ферме, предпоследняя дочь в младенчестве свалилась с полатей и на всю жизнь осталась не по возрасту маленькой и горбатой, по этой причине не могла выйти замуж. Ваня был последним в семье, на него у отца, видимо, уже не хватило сил. Кроме того, что он рос косоглазым, он был нескладно сложен, одно плечо выше и шире другого, с непропорционально большой головой, широкий лоб делал ее еще больше.

Не знаю, как было в других весях, но мы в детстве, дети военного и послевоенного времени, не подозревая об том, были жестокими. Нормальной забавой у нас считалось разорять сорочьи и вороньи гнезда, потому как сороки и вороны кем-то были внесены в разряд вредных, но особое удовольствие доставляло разорять не яйца, а уже когда вылупились птенцы. Мы рассаживали их в ряд на каком-нибудь пригорке и расстреливали камнями, как проклятых фашистов, и то ли некому было нас пристыдить, или это и у взрослых считалось нормой. Ваня не участвовал в этих жестоких играх, как только они начинались, не умея противостоять им, убегал домой. Мы были жестоки и по отношению друг к

другу, и косоглазому и скособоченному Ване доставалось больше других. Почему-то некоторым из нас доставляло удовольствие кричать ему вслед: Ванька Косой! Я и сейчас затрудняюсь сказать, за что мы мстили ему. За отобранное войной детство? За у большинства не вернувшихся с войны отцов? За то, что был добрее нас? И часто доводили его до слез, но наступило время, когда он перестал плакать, замкнулся в себе и перестал участвовать в наших забавах. Его любимым делом, в отличие от нас, носящихся с деревянными автоматами по заросшим конопляниками заброшенным колхозным сараям, было возиться с домашней живностью, особенно с голубями. Он часто пропускал уроки по болезни, а зимой и по отсутствию теплой одежды, потому в каждом классе был второгодником.

Но однажды у него был праздник. Из подаренной кем-то старой железнодорожной шинели тетя Анна сшила ему теплую куртку. О ней было много разговоров, потому как шилась она долго: и потому, что мать впервые взялась за такую сложную работу, и потому, что у нее не хватало на шитье времени: с темна до темна тяжелая колхозная работа, за которую редко платили, а после работы домашнее хозяйство, за счет которого и жили-выживали. И вот наконец куртка сшита. Ваня шел в школу гордый. Но в школу его встретили всеобщим хохотом: один рукав был короче второго, хлястик почти на шее. Ваня горько заплакал и не приходил в школе несколько дней. Он сказал матери, что не будет больше учиться. Тогда по приказанию директора к Ване пошла учительница и долго его уговаривала, а директор перед этим построил всю школу и долго сты-

дил. После всего этого Ваня долго болел.

После смерти Вани я редко, но навещал родную деревню, не столько родственников, сколько реку Юрюзань, гору Сосновку и каждый раз старался зайти к тете Анне с каким-нибудь подарком. Я почему-то любил ее больше других своих родственников, может, даже больше, чем своих родителей. Жила всю жизнь для других, для детей, всех прощая, в том числе колхоз, который платил по трудодням крохи и то только время от времени, государство, которое ей начислило пять рублей пенсии («вон сколько по стране пенсионеров развелось, разве на все денег хватит»), гордилась, что за всю свою жизнь не пропустила ни одного рабочего дня и имела от колхоза похвальную грамоту. «Как это не пойти на работу?! – возмущалась она. – Один не пойдет, другой...»

Помню последний приезд, когда я ее еще застал. Был золотой сентябрь, желтые и багряные листья плыли по тихой воде. Она копалась в огороде, на костылях убирала картошку. Шутила: «Другие старухи в моем возрасте озоруют, а я еще ничего». Я помог перетаскать картошку в погреб.

– Да что ты, гость ведь, Стеша придет с работы перетаскает.

Стеша – сноха, круглая сирота из соседней деревеньки, учась в школе, жила у тетки, до седьмого класса моя одноклассница, затем бросила школу, постаревшая тетка больше не могла тянуть ее. Некрасивая, крупная, широкая в плечах, с тихой виноватой улыбкой. В деревне для нее женихов не нашлось, пришлось выйти замуж за брата Вани Алешу, телосложением тоже прижатого к земле, он был на две головы ниже Стеши. Сколько радости было в

семье: выучился на водителя, все хорошо бы, но пьяный, шабутной, повздорил с милиционерами, те в кутузке посадили его кобчиком на бетонный пол, после чего у него отнялись ноги и даже речь, лежал лежнем, кормили с ложки. Пытаясь заговорить со мной, только мычал, но удивительно: чисто без языковых изъянов матерился, и лежа на спине, глядя в потолок, часами отводил душу в мате, пока не придет с работы Стеша и не перевернет его на другой бок.

То ли надорвавшись на картошке, то ли время подошло, в октябре после моего приезда тетя Анна слегла и вскоре умерла. Не знаю, наказывала ли она в случае смерти известить меня, но меня мои родственники о ее смерти не известили, словно мстили за то, что любил ее больше других. Только через год проездом мимо своей деревни я заглянул на ее могилку.

Умерла, и обнаружилось, что запаслась продуктами: и на поминки, и на девять дней, и на сорок. Масло, которое покупала по талонам, топила несколько раз с луком, чтобы не пахло прогорклым. Сказала снохе Стеше перед смертью: «Чтобы ничего не брать ни у кого, чтобы никому не быть должным. Все на столе только чтобы свое». Так провели поминки, и девять дней, и сорок, а еще осталось.

Строго наказала, чтобы похоронили в некрашеном гробу и чтобы не было красного цвета.

Каждый раз, когда я редко бываю на кладбище, долго смотрю на фотографию деда, говорят, я похож на него, в том числе и характером. Я смутно помню его, уже не поднимающегося с постели. Потом я иду к могиле брата Вани. Его взгляд даже сейчас я не могу долго выдержать. Думаю: «Если бы Сте-

ша вышла замуж за Ваню, все было бы иначе». Но у жизни другой расклад. Тетя Анна смотрит с портрета прямо, строго поджав губы, словно фотографировалась на доску почета, с чувством, что она все сделала в своей жизни, что могла сделать, а остальное от нее не зависит.

Похоронив Алешу, к концу жизни он стал выговаривать отдельные слова и меньше материться, и, подняв на ноги детей, Стеша уехала жить в свою деревню к родственникам покойной матери.

Жила она долго, проезжая иногда по этой деревне, я знал, что в этом вот доме доживает свой век Стеша, родная душа, тихий и добрый русский человек. Но почему-то ни разу не решился заехать проведать ее, почему-то я чувствовал себя перед ней виноватым. А в позапрошлом году, проезжая мимо, я узнал, что Стеша умерла

Теперь мой черед. Может, там разберемся, почему мы были такие. Такие родные и в то же время такие чужие друг другу на этой земле.

